

## ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В РОМАНАХ ЛЕОНОВА 20-х—30-х ГОДОВ («СОТЬ»)

С. КУЗЬМЕНКО

Художественное становление советской литературы происходило одновременно с активным освоением ею новой действительности. Мир рождался заново, заново рождался человек, и литература должна была зафиксировать этот процесс, отразив смысл и цель совершившегося переворота. В этой связи первостепенной проблемой становилось определение социального и нравственного потенциала нового человека.

Основные черты новой личности были теснейшим образом связаны с особенностями новой эпохи, поставившей человека массы лицом к лицу с историей, включившей его в процесс революционной перedelки мира. В результате этот человек, который в подавляющем большинстве был «бытовым человеком, который веками воспитывался в условиях классовой борьбы, глубоко заражен зоологическим индивидуализмом и вообще является фигурой крайне пестрой, очень сложной, противоречивой»<sup>1</sup>, неизбежно изменялся, в его душе укреплялось «новое, общечеловеческое», то, что «будет жить века и не уничтожится, а только изменится на лучшее»<sup>2</sup>. Кардинальная линия развития советской литературы в 20-е годы, ее горьковская линия, была связана с исследованием конкретного, бытового «человека массы», под влиянием революции пробуждающегося к историческому творчеству. Анализируется процесс рождения новой личности, основанный на «постепенном очищении от уродливых наслоений старого мира»<sup>3</sup>, изображается, как в революции «массовый человек» проходит своеобразную школу духовного роста, превращаясь в вожака массы («Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева и т. д.). Литература воспринимает и развивает ленинский тезис о том, что «истинными героями нашего времени являются теперь те революционеры, которые идут во главе народной массы, восстающей против своих угнетателей»<sup>4</sup>.

Леонид Леонов входит в литературу как художник «оригинального таланта и серьезных тем»<sup>5</sup>, отличающийся и совершенно своеобразным подходом к решению общих проблем, стоящих в это время перед литературой, в том числе и к проблеме нового человека. Развиваясь в русле

<sup>1</sup> М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. Т. 26, с. 415.

<sup>2</sup> Там же, т. 25, с. 97.

<sup>3</sup> В. Тимофеева. Личность, общество, литература. В кн.: Советская литература и новый человек, Л., 1967, с. 7.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 277.

<sup>5</sup> А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 томах. Т. 1, с. 502.

горьковских тенденций, Леонов уделяет первостепенное внимание тому, что новое рождается не на время, а на века. Для него необычайно важно, что новой, формирующейся личности предстоит вобрать в себя вместе с опытом современности лучшее из накопленного предками и нести это лучшее вперед, к потомкам. Новый человек для него — это наследник вековых традиций предков и родоначальник новых поколений, устремленных в будущее. Исходя из этого, Леонов стремится говорить о своем времени с позиций вечности. Считая задачей своего поколения писателей «выявить в этой свирепой людской суматохе, в этом великом столкновении идей начало и зарождение нового человека»<sup>6</sup>, Леонов тщательно выверяет черты современника на материале прошлого, проецирует их на будущее.

Можно предположить, что именно поэтому в своих ранних рассказах, тематически не связанных с современностью, Леонов обращается к утверждению исконно народных, испытанных веками норм человечности: добра, красоты, справедливости, бескорыстной жертвенной любви, силы разума. Уже с «Бурыги» «сердцевина народной жизни, зернышко ее святынь, народные традиции» становятся «теми началами, с которыми писатель постоянно решает соизмерять судьбы и поступки своих... героев»<sup>7</sup>. Важно и другое. Уже в первом своем произведении Леонов соединяет истинную человечность с отсутствием эгоизма, который впоследствии предстанет в его произведениях как воплощение величайшего зла современного мира.

Человек не может жить без мечты — на то он и человек. Об этом рассказ «Бубновый валет». Мечта, враждебная жизни, унижает человека и отравляет душу («Халиль»). О победе человека над такой мечтой — «Деревянная королева».

Любая абстракция — яркая ли фантастическая мечта безумца или рационалистическая схема мудреца — по Леонову не более, чем «громада пустого праха» перед естественной радостью бытия. Человеческое, грешное и святое, самое важное и простое на свете, что помогает жизни, не мешая жить, воспевают Леонов в «Гибели Егорушки». Человек должен жить по законам правды и добра. Иначе рушится человечность, и живая жизнь казнит отступника, нарушителя ее извечных законов. В этом источник трагедии монгольского военачальника Туатамура и его любимой Ытмарь («Туатамур»).

Человек должен быть свободен, добр, горд, прекрасен. Этот горьковский тезис является своеобразным лейтмотивом ранних леоновских рассказов, в «Уходе Хама» приобретая оттенок богоборчества.

Бунтарство Хама трактуется Леоновым как следствие того, что этот человек впервые осознает себя человеком, одним из звеньев в цепи поколений человечества. Посланный богом потоп, прервавший естественное развитие человечества, вызывает протест Хама как против бес-

<sup>6</sup> «Октябрьская газета». Однодневная газета ФOSP РСФСР, 1927, 8 ноября.

<sup>7</sup> А. Старцева. Ранняя проза (К характеру философской концепции). В сб. ст.: Творчество Леонида Леонова, Л., 1969, с. 154—155.

человечия бога («Криком людей не сжалится ухо Отца»<sup>8</sup>), так и против унижения человека бесцеремонным вмешательством свыше в естественный ход человеческой жизни, божественного насилия над человечностью. «Это тот, который там, вверху, велел вам забыть обо мне и кричать так, как кричат ночные звери. Это Тот...»<sup>9</sup>. Хам уходит потому, что, осознав себя человеком, обретает уверенность в силе и грядущем торжестве человечества: «Кто остановит, смелый, течение внешних вод и безудержного стада! Я увижу правнуков Ханаана»<sup>10</sup>.

Нормы естественной человечности, утверждаемые в ранних леоновских рассказах, безоговорочно попирались в старом мире, взорванном революцией. Новый мир, по мысли Леонова, должен был утвердить незыблемость этих норм. Революция раскрепостила человека экономически и социально. Однако духовно он еще зачастую не мог отрешиться от традиций и догм старого мира. Новый человек виделся писателю как личность, способная преодолеть сопротивление старого мира во всех областях существования — от внешней, материальной сферы до запредельных глубин внутреннего мира личности.

В критике нередко упреки Леонову в том, что он в «Петушихинском проломе» «не воссоздал облик новых людей, хотя верит, что за ними будущее»<sup>11</sup>. Действительно, образы новых людей в «Петушихинском проломе» еще лишены бытовой сочности. Это своеобразные символы революционного порыва к физическому и духовному раскрепощению человека. Однако образы «большаков» уже достаточно ярко свидетельствуют как о незаурядном мастерстве автора, так и о своеобразии его подхода к герою, рожденному временем. Специфика авторской позиции в «Петушихинском проломе» определяется убежденностью в том, что революция должна переделать, поднять к духовной жизни рядового петушихинца, превратить его в гражданина. Не случайно одним из «большаков», прибывших в Петушиху, чтобы вскрыть мощи святого Пафнутия, является коренной петушихинец, бывший конокрад Талаган. Тот самый Талаган, который бывало, попроси под окном водицы умирающий, скажет: «Эк ты, человек несобразительный! Я сплю, а ты мене понапрас тревожишь» [1, 154]. Леонов не показывает процесса перерождения Талагана, однако сам факт этого перерождения свидетельствует о том, что революционная идея превратила стихийный протест этого человека против общества в протест сознательный, воплотив основное развитие народного духа, народной жизни. Интересно решение образа вожака «большаков» Арсена Петрова. Леонов называет его «голубым человеком»: «иссера голубые глаза, рубашки ситцевой бледная голубизна... и даже слова его немногие, какие произносил он тихо, настойчивым по-женски тоном, отливали голубизной, и даже жилки голубые виднелись на виске, где удивительно среди жилок этих пробежал голубой шрам... Но происходила голубизна Арсена Петрова от железа» [1, 179].

<sup>8</sup> Л. Леонов. Собр. соч. в десяти томах. Т. 1, М., 1969, с. 172. Дальше сноски даются в тексте.

<sup>9</sup> Там же, с. 175.

<sup>10</sup> Там же, с. 175.

<sup>11</sup> З. Богуславская. Леонид Леонов. М., 1960, с. 23.

«Железная голубизна» — любовь к людям, душевная чистота, ранимость, но и непреклонная воля в защите идеалов революции — видится Леоновым как основа характера нового человека, деятеля новой эпохи.

В романе «Барсуки» Леонов продолжает исследование нового типа личности, выдвинутого временем. Исходя из того, что революция — это «важнейший, отвечающий законам природы акт, который должен сблизить человека и вселенную»<sup>12</sup> не в вихре разрушительного мятежа, но в процессе разумного и целеустремленного созидания, Леонов, исследуя характер современника, приобщает эту личность к исконным началам народной жизни.

Специфика подхода Леонова к образу революционера состоит в том, что писатель рассматривает его, как и всякого русского человека, как неотъемлемый элемент национальной стихии. Образ нового человека, в данном случае — Павла Рахлеева («товарища Антона»), становится для писателя средством утверждения его мысли о том, что сила революции, смиряющая стихию, порождена самой национальной стихией. Павел Рахлеев — кровный брат Семена, они дети одной матери, одной земли. Победа Павла над «барсуками» определена не столько его умом, волей или стратегическими способностями, сколько тем, что «реальный гуманизм коммуниста Антона... нашел точки соприкосновения с тем... здоровым культом труда», который лежит «в основе крестьянского жизнеотношения»<sup>13</sup>. Леонов доказывает: победа нового неизбежна именно потому, что оно продолжает тенденции развития народной жизни, непрекращающийся «процесс природы», что взрывы и потрясения революции были лишь этапами этого процесса.

Жизнеспособность нового, по Леонову, определяется тем, что революционная идея базируется именно на своем соответствии началам естественной жизни. Человечность нового человека проверяется его способностью вобрать в себя весь многообразный опыт предшествующей национальной жизни, дополнив его опытом революции, и таким образом утверждаться в неразрывной цепи преемственности, по которой накопленные человечеством нравственные ценности передаются от предков потомкам.

Путь развития главного героя в романе «Вор» — это также путь приобщения мятущегося от волнений заключенной в нем стихии Векшина к тому устойчивому и вечному, на котором для Леонова основан мир строительства нового общества, новой жизни. Главная силовая линия, связывающая человека с этим миром, видится Леоновым в повседневном, тяжком, но приносящем радость труде на благо этого общества, на благо человека и человечества. Движение Векшина «вперед и вверх» невозможно без его включения в процесс социалистической стройки.

Принципиально новым для творчества Леонова в «Соти» было то, что писатель превратил область повседневной человеческой жизни —

<sup>12</sup> Н. Грознова. Леонов и Достоевский. — В кн.: Творчество Леонида Леонова, Л., 1969, с. 140.

<sup>13</sup> В. Бузник. О первом романе Леонова («Барсуки»). — В кн.: Творчество Леонида Леонова, Л., 1969, с. 198.

область труда не только в арену мощных социально-психологических конфликтов, но и в арену философско-эстетического утверждения новой действительности. Становление личности в труде он рассматривает как один из аспектов процесса духовного становления общества.

«Очень понравился мне Увадьев»<sup>14</sup>, — писал Леонову Горький. Однако его точка зрения не получила активной поддержки других критиков. Леонова обвиняли в излишней сухости, утилитарности, огрубленности образа главного героя. Ф. Власов<sup>15</sup>, в частности, упрекает Леонова в том, что в образе Увадьева «сила оборачивается грубостью, простота — примитивностью, а трезвая деловитость — ограниченностью»<sup>16</sup>. По мнению критика, «нарочитая огрубленность образа свидетельствует, что это — не просто художественный недостаток романа, а художественное выражение ограниченности мировоззрения писателя в понимании им большевистского характера», которую Леонов «очень долго не может преодолеть, она на целые годы останется для него главным препятствием в изображении героя современности». В основе этой ограниченности мировоззрения, по мнению исследователя, «пережиток индивидуалистического представления писателя о большевике, которая заставляет в самозабвенном служении коммуниста делу социализма видеть черты жертвенности, отказа от личного счастья»<sup>17</sup>.

Такая подробная цитация работы Ф. Власова в данном случае имеет целью продемонстрировать опасность поверхностного подхода исследователя к литературному произведению с очень сложным философско-эстетическим подтекстом. Думается, что Увадьев, такой, каков он есть в «Соти», не дает оснований обвинять Леонова в индивидуализме и ограниченности мировоззрения. Как и в «Барсуках», и в «Воре», Леонов воплощает в Увадьеве «бесспорные черты образа» нового человека: беззаветную преданность идее революции, жизненную активность, максимальную поглощенность работой по переделке мира и человека. Герой активно включается писателем в непрекращающееся движение поколений: его жизнь одушевлена высокой мечтой о будущем. В этой связи и определенный аскетизм, жертвенность Увадьева не предстают как некий художественный просчет. Леонов, сам участник революции и социалистической стройки, вполне возможно, неоднократно был свидетелем жертв, вплоть до жертвы жизнью, приносимых лучшими из его современников. Налицо иное — решительный отход писателя от общепринятой схемы изображения положительного героя.

В «Соти» Леонов продолжает развитие своей концепции **рождающегося героя**<sup>18</sup>, совершенствующейся личности. Для него уже и в то время «хорошесть литературного или театрального героя достигается не усер-

<sup>14</sup> М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. Т. 30, с. 186.

<sup>15</sup> Оценка, данная Ф. Х. Власовым, приводится здесь как наиболее ярко выразившая подобные упреки.

<sup>16</sup> Ф. Власов. Эпос мужества. М., 1965, с. 35.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> «Не страх любопытен нам, а разбег к страху — не самодовольно действующий герой, а рождение героя» (Л. Леонов. От романа к пьесе. — «Современный театр», 1927, № 5, с. 70).

дием либо косметическим мастерством автора, она рождается в результате борьбы хорошего с дурным в самой душе нашего героя»<sup>19</sup>. Задачей писателя Леонов считает изображение того, как человек одолевает дурное в себе, как в нем рождается высокий порыв. Именно эту задачу Леонов стремился решить и в образе Увадьева.

Леонов не идеализирует своего героя. Он настойчиво подчеркивает, что многого еще недостает Увадьеву, показывая как, переделывая мир, его герой переделывает себя, поднимаясь к вершинам подлинной человечности.

Увадьев для Леонова — это человек из низов, в какой-то степени, безусловно, несущий в себе черты вековой исторической отсталости массы. Герой постоянно и остро ощущает недостаток культуры, который, по его мнению, разделяемому автором, мешает ему обрести власть над жизнью во всей ее полноте. Увадьеву, естественно, не удалось до революции приобщиться к науке, культуре, искусству. После революции такой возможности у него тоже практически нет — он занят **делом**. Однако отрыв героя от духовных и эстетических ценностей в сочетании с положительными, в конечном счете, чертами: резкостью, с которой он делит мир на друзей и врагов, непреклонной прямоотой, неспособностью на компромисс и т. д. оборачивается своеобразной духовной неполноценностью — узостью мысли, нравственной нечуткостью, эстетической слепотой. Все это не только снижает образ героя, но и становится серьезной помехой для его деятельности, особенно в сложных жизненных ситуациях.

Увадьеву недостает внешней культуры, элементарной воспитанности. Ему приходится выслушивать справедливые упреки Сузанны: «Если вам не трудно, Иван Абрамыч, пересядьте на табурет. Я не люблю, когда сидят на кровати»<sup>20</sup>; Фаворова: «Кстати, почему вы зовете меня на ты? Я, право, не заслуживаю этой чести!» [235] и т. п. Однако внешняя бесцеремонность героя не так уж пугает Леонова: приобретение внешнего лоска, видимо, наиболее легкая из задач, стоящих перед победившим классом. Страшнее другое: основанное на культурной узости духовное бездушие.

В романе есть многозначительный эпизод: мать Увадьева, Варвара просит сына прислать ей к свадьбе букет цветов. «Перед людьми-то хочется... Нежненьких купи, подешевше да побольше. Я тебе отдам потом...» — «Ладно», — обещает Увадьев. — «И, конечно, забыл» [101]. Здесь уже равнодушие героя ко внешним приличиям переходит в равнодушие к человеку — признак внутреннего бескультурья. В стычке Фаворова с Увадьевым в первой главе романа, когда Фаворов восторгается раскинувшимся вдали простором Соти: «хоть апокалипсис новый пиши... Глаза ломит простором...» — «Еще пиво хорошо тут пить, — минуту спустя откликнулся Увадьев» [20], показательно именно это **«минуту спустя»** — Увадьев бросает свою рационалистическую реплику лишь убедившись в том, что он не способен поддержать разговор на равном

<sup>19</sup> Л. Леонов. Литература и время, М., 1967, с. 311.

<sup>20</sup> Л. Леонов. Собр. соч. в девяти томах. Т. 4, М., 1961, с. 234. (В дальнейшем ссылки на роман «Соть» в этом издании даются в тексте).

с Фаворовым уровне. Разговаривая с Сузанной, Увадьев ощущает свой «язык, как суконную стельку, в насмешку засунутую ему в рот» [9], также не только от смущения, вызванного влюбленностью, но и от того, что за Сузанной, по его мнению, огромное превосходство в культуре — препятствие, кажущееся ему непреодолимым.

Нелепо выглядит Увадьев на чаепитии в скиту, когда, опасаясь, вероятно, упрека (хотя бы от самого себя) в потакании религиозным обычаям, отказывается снять картуз, объясняя это вымышленной болезнью головы [24]. При первой встрече с Жегловым Увадьев демонстрирует не только «заносчивую угрюмость» [72], но и неумное ломанье «сытого мастера с фабрички» перед бывшим возлюбленным жены. Именно такого рода впечатление производит его хвастовство дедом, вымышленным, якобы, помещиком на трубу — «будто в родовой неприязни ко всем тем, чей дед не щеголял в помещичьих, рогатках, он и Жеглова вызывал на соревнование» [73] — в довершение всего оказывается, что история с дедом вымышленная, нечто подобное произошло с прадедом, и то не Увадьева, а Натальи. Естественно поэтому, что Жеглов относит Увадьева к тому сорту людей, «которые непереносимы с низшими, равнодушны к равным и сами крайне болезненно переносят расположение свыше» [73]. И хотя Жеглов впоследствии изменяет мнение «об этом суковатом человеческом кряже, достойном лежать в фундаменте большого дома, но Увадьеву так и не удалось завоевать его дружбы, целиком принадлежащей Наталье» [73].

Духовная бедность Увадьева, узость его мышления ставятся в романе причиной его грубых ошибок в людях. Увадьев оказывается неспособным проникнуть в психологию Ренне — честного специалиста, большого знатока своего дела, но человека трагически заблуждающегося в понимании сущности революции. Для Ренне революция — торжество хама, разгул дикости, конец цивилизации. После революции он долгое время «скрывал свое инженерное звание, полагая, что за звание-то и **кокнут**» [78]. Естественно, что очутившись в рабочей среде, Ренне оказывается неспособным слиться с нею, почувствовать себя человеком массы, разделить ее идею. Эта внутренняя чуждость инженера коллективу обостренно ощущается рабочими: «строители чувствовали в нем чужого, который если и не навредит, то и не принесет достаточной пользы; все было ненавистно в нем — от сухой, лаистой речи до старой, с острыми полями фуражки» [231]. Ренне растерялся перед новым — духовным подъемом забитого расейского мужичка, могучим вторжением техники в лесную глушь. Между тем «крушение старой техники для инженера есть и крушение психики» [234]. Старый инженер оказывается бессильным перед катастрофой, потому что не верит в людей, работающих рядом с ним, так как меряет их критериями старого мира, где поднять человека на подвиг можно было лишь одним — выгодой.

Увадьев не способен помочь Ренне, потому что он не может постичь внутренний мир этого человека. В Ренне он видит лишь одно — стремление к личной выгоде: «Нам нужно знание, оно стоит дорого: мы платим... получай, гражданин, свои тыщи!» [190]. Увадьеву непонятно, что для Ренне высокая оплата его труда — это своеобразная мера его

значимости как специалиста. В работе для Ренне — весь смысл его существования, «отнять у него работу — значило вырвать тот последний колышек, за который он держался в жизни» [201], а значит любое недоверие к его деловой честности может стать для этого человека величайшим оскорблением и величайшим душевным потрясением. Даже когда оскорбленный рабочими за несуществующую вину перед Сотьстроєм Ренне не является домой, Увадьев не разделяет общего беспокойства: «за самого Ренне он был более чем спокоен. «Ерунда, я видел, с каким смаком он влезал однажды в трестовский автомобиль. Не решится, не посмеет... это прежде всего больно!» [236]. Увадьеву некогда врачевать душевные раны инженера: «надо гнать, мы не богадельня — мы фронт» [187]. И он ошибается. Ренне покончил с собой. Потеряна частица старого мира, которая, окажись герой прозорливее, возможно и могла бы быть поставлена на службу новому.

Одна из характерных черт Увадьева — его уверенность в себе. Герой не теряет ее даже в трудное время после катастрофы, когда строительство на Соти подвергается жесточайшей критике в прессе, когда его собственная добросовестность, честность, партийная принципиальность поставлены под сомнение. Увадьев уверен: он отдает жизнь правому делу, и он оказывается прав. Однако в тех случаях, когда уверенность героя в себе базируется на качествах его характера, связанных с духовной культурой, она нередко превращается в самоуверенность, приводящую Увадьева к серьезным жизненным просчетам.

Увадьев взялся за перевоспитание послушника Геласия, так как «по старинной слабости... считал себя ловцом человеков» [39—40]. Он уверен, что ему удастся увести Геласия из скита, помочь ему войти в новую жизнь, совершенно не задумываясь о том, достаточно ли он подготовлен к роли воспитателя духовно, а не только социально. Однако жизнь сразу же сталкивает героя с непредвиденными трудностями.

Нарисованные Увадьевым картины будущего Соти и счастливой жизни того, кто свяжет свою судьбу со стройкой, сугубо материальны, им недостает духовности. И Геласий это замечает.

«— Это все так, для прикрытия сраму, а душа... душу куда определишь? Она что гвоздь: полежит без дела — заржавеет!

Увадьев перестал отчерпывать воду; в этот миг он отвечал не одному только Геласию:

— Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... я делал их, или ел, или держал в руках... я знаю их на цвет и на ошупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают? ... Где это продают...» [47].

Увадьев сам еще не подготовлен к тому, чтобы передать своему подопечному идею нового во всей ее полноте, он вынужден ограничиться лишь ее материальной стороной. Происходит это потому, что Увадьев сам еще мало знает за пределами того, что касается материальной стороны жизни, а чувствуя, не способен передать — для этого ему не хватает духовной культуры. Сознывая, что Геласий, разочаровавшийся в вере, покинувший скит, — это «распаханное поле, в котором всякое, что ни сунь, вырастет вдсятеро» [172], Увадьев в то время и сам не

знает, не уверен, что же нужно «совать в эту землю». «Предайся делу науки, безграмотный ты человек! Учись, соси соки, читай умные книги... — Он запнулся, сам не зная многих из тех, которые бы хотел перечислить...» [174]. Речь Увадьева, столь конкретная, столь образная и убедительная, тогда когда речь идет о **деле**, оказывается абстрактной и беспомощной, когда герой вынужден перейти в область человеческого бытия, неизбежно следующую за **делом**, — область культуры, жизни сердца, духовных ценностей. В результате его поучение убедительно для Геласия лишь наполовину и способно лишь наполовину переродить его. Геласий берет предлагаемую ему Увадьевым материальную культуру, материальную истину и оказывается беспомощным в поисках новой пищи для души. Новая жизнь приносит ему лишь «красивое» имя — Роберт Элеоноров, которое для Увадьева звучит «как издевательство над ним же самим, над Увадьевым» [269], и удовлетворение сугубо физических потребностей, которого лишал его скит.

Однако в глубине души этот человек все же тянется к новому, верит ему. Но почувствовать эту тягу, это доверие Увадьев также оказывается неспособным. Возвращаясь вместе с Геласием на Соть, Увадьев не может отделаться от мысли, что все его старания пропали даром: «И ты тоже хорош, монахом советскую власть вздумал подпирать». Геласий же «сидел прямо, весь в каком-то внутреннем полете, одинаково напряженно снаружи и внутри», вероятно, догадываясь «о минутном сомнении Увадьева» [268]. И, догадавшись о нем, безоружный, рискуя жизнью, бросается в погоню за одичавшим врагом нового, монахом Филофеем. «Верность, верность доказать хотел» [270], — приходит к Увадьеву запоздалая догадка, запоздалое угрызение совести.

Сапог Филофея разбивает «хрупкую неправду» Увадьева о будущей счастливой жизни Геласия. И в мысленном споре с Жегловым Увадьев судит себя за свой просчет.

«Ну как Геласиева пружина?» — «Она умерла... В каждом производстве бывает брак». — «Слишком велик брак в твоём производстве, Увадьев!» [281].

Этот спор — попытка Увадьева оправдать в себе жизненную неполноту и, в конечном счете, неполноценность, которую он болезненно ощущает. Отдать всего себя делу, подчинить ему абсолютно все свои жизненные устремления Увадьев может лишь благодаря известной ограниченности этих устремлений. Спор Увадьева с Жегловым: «Ты машина... приспособленная к самостоятельному существованию. Ты самую природу считаешь низменной». «Цени во мне это!» — «Но ты же не живешь, а исполняешь функции», — заканчивается выражением уверенности Увадьева в своей правоте: «Я не боюсь суда тех, для кого я сделал себя таким...» [281]. Однако автор убежден в другом: цель нового общества не в том, чтобы создать человека-машину, круг потребностей которого ограничен **делом**, при всей его безусловной ценности, «выработать... американизированного человека в электрофицированной стране», но в том, чтобы воспитать человеческую личность, обладающую всей полнотой физических и духовных, т. е. деловых, идейных, нравственных, эстетических и т. д. качеств. Поэтому Леонов образом Увадьева активно

отстаивает свою убежденность в том, что движение в будущее невозможно без сближения с людьми, а сближение с ними невозможно до тех пор, пока «машина» не превратится в человека.

Одной из сфер «очеловечивания» Увадьева становится мир чувства, любовь к женщине.

Когда Наталья, устав ждать отправленного на каторгу Жеглова, вышла замуж за Увадьева, перед нами человек, которого «мало кто любил, но уважали все, не исключая хозяина; ей бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки» [69]. Увадьеву безразличны чувства Натальи, ее любовь к Жеглову, мотивы ее замужества и т. д. Это человек массы, правда, уже поднявшийся над ней до такой степени, чтобы не считать женщину, жену существом низшего порядка, но еще не настолько выросший духовно, чтобы искать в этой женщине любимую, друга, товарища по борьбе. Не случайно лишь после ареста Увадьева Наталья с горечью узнает от одного из фабричных, что муж ее вот уже три года состоит членом подпольной организации, а значит столько лет «скрывал от нее свое кровное дело» [71].

В отношении Увадьева к Наталье поражает потрясающее равнодушие к человеку. Он «великодушно переносил ее присутствие, и происходило это не из насильственной благодарности к женщине, заслужившей его привязанность черной работой прачки и женщины: попросту дни Увадьева были завалены более важными делами» [73]. Однако и заваленный делами, Увадьев не гнушается случайных связей, по большей части с женщинами «опрокинутого класса»; при этом «не страшась причинить горе, он угощал иногда жену шоколадом, который случайно оставался у него в кармане от другой; сам он не любил сладостей и не терпел, чтобы вещь бесцельно пропадала в мире» [74].

Такое равнодушие, равное бездушию, видимо не может быть объяснено тем, что «он ждал другой, равной по возможности ему и не похожей на Наталью» [74]. В основе подобной бедности чувств, эмоциональной глухоты лежит, безусловно, недостаток внутренней духовной культуры, которую Увадьеву еще предстоит обрести, пробела в его духовном воспитании, который ему предстоит восполнить.

«Воспитанием чувства» становится для Увадьева его первая человеческая любовь — любовь к Сузанне. Предшествует этой любви безоглядное погружение Увадьева в мир захватившего его дела. «Уже перестал он носить домой размякшие в карманном тепле шоколадки; обстоятельства понуждали целиком впрячься в потемкинский хомут, и у него краснели глаза, когда он заговаривал о работе» [91]. С Сузанной Увадьева связывает дело: «Сузанна служила в том же, что и Увадьев, тресте, они встречались по службе и говорили пока только о комбинате, уже поглотившем чувства и волю Увадьева» [92]. Однако в мир дела постепенно и настойчиво вторгается «назойливая мелодия» чувства — восхищение Увадьева женской и человеческой красотой Сузанной.

Увадьев настойчиво пытается стряхнуть с себя очарование. «Все, кроме предстоящего строительства, мнилось ему в крайне упрощенном виде, и самая любовь была для него лишь пищей, которая утронит его силы

на завтрашнем его пути» [96]. Временами Увадьев ненавидит Сузанну за сложность чувства, внушаемого ею. В чувстве этом он видит некий соблазн, атаку на него враждебного, чуждого ему мира культуры, связанного в его представлении с «опрокинутым классом». Отсюда напряженное ожидание Увадьевым **прихода** Сузанны — прихода соблазнительницы, торжествующего врага, ожидающего его, Увадьева, сдачи на милость победителя. Увадьев беспомощен перед нахлынувшим на него чувством и, подчеркивая его бессилие, Леонов сознательно уравнивает его в его чувстве к Сузанне с послушником Геласием. Геласий тоже видит в Сузанне соблазн, мир греха, ополчившийся на его святость, и, являясь к ней в келью, приносит себя в жертву греху, ошеломленный тем, что «грех отказывается от его безоговорочной сдачи» [45]. Подобным образом и Увадьев после ухода жены ждет прихода Сузанны, удивляясь тому, что она не идет, неся ему «бедствия и порабощение» [96]. Но «грех» и в данном случае отказывается от «безоговорочной сдачи», потому что Увадьев — еще не тот человек, которого могла бы полюбить Сузанна — женщина «из завтрашнего дня». Продемонстрировав в «Воре», что психологическая перестройка, не имеющая социальной основы, еще не рождает нового человека, Леонов в «Соти» показывает ограниченность перестройки социальной, если она не подкреплена духовным, нравственным, психологическим ростом личности.

Увадьеву, монолитной социальной глыбе — «сердечные раны — если только личные обстоятельства могли нанести ему такое ранение — заживали у него быстрее, чем порез на руке» [103] — предстояло научиться чувствовать глубоко и страстно, потому что без этого новому человеку не могла открыться во всей ее полноте красота мира.

И Леонов внимательно проследивает этот процесс. Увадьев упорно борется с чувством, пытается доказать себе его чисто утилитарное значение в своей жизни. Но любовь властно овладевает всем его существом, делая его человечнее, глубже, чище, Увадьеву открывается красота природы. «Всякие мелочи привлекали теперь его обостренное внимание: и птица на дереве — совсем Жеглов, только бы пенсне для сходства! — и дрожкая преждевременная латунь ржи, и собственная его длинная тень, взъерошенная травой» [165]. Он становится более чутким к людям. Проходя мимо барачков, где живут рабочие, Увадьеву хочется «войти, присесть на жесткую койку, усталую лоскутным одеялом, слушать затаенные раздумья этих вчерашних земледельцев и хоть на полчаса заглушить в себе одинокую тоску» [166].

Увадьев упорно ждет «прихода» Сузанны. «Для этой, в сущности, женщины он бросил жену и вот полгода ходит бараном вокруг заколдованного слова, которое и в мыслях страшится произнести: нежностей он бежал пуще пошлостей, этот нелюдимый солдат и предок» [169]. Но приходящее к герою понимание, что Сузанна «не придет» взять его, сдавшегося на милость победительницы, приносит сознание того, что ему самому надо идти, подниматься вверх, к ней. По Леонову способность любить глубоко, чисто, красиво — качество человека нового времени, нового общества. Заколдованное слово «любовь» приходит к Увадьеву как результат его духовного роста. Не случайно поэтому пер-

вое его появление на устах героя обставлено в романе такой волнующей торжественностью. Признание Увадьевым права на существование самого слова «любить», казавшегося ему бессмысленным и постыдным, происходит в ночь катастрофы, когда в схватке со стихией впервые воочию проявляется сила человека, воодушевленного идеей. В эту ветренную ночь, когда «люди работали спорей машин» [194], герой окончательно убеждается, что человек при всей его уязвимости, при всей тонкости его чувств и переживаний, сильнее механического, бездушного существа. Оттого все присущее человеку — не машине — перестает быть для Увадьева преступным и запретным.

«Ветер дул им под ноги, рвал из-под сапог корье, наметанное водой. Наступила странная минута, которая никогда больше не могла повториться. Увадьев взял инженера под локоть:

— Бурого, я солдат, мое дело драться... Но, черт, я одет в мясо... и даже понемногу пью... Есть вопрос, Бурого... Вы, ну, как это говорится, очень ее любите?» [198].

Жизнь опрокидывает прогнозы Буланина: «Утерялись все нормы, наступил хамский апогей естественных наук... Зачем Увадьеву любовь?» [206—207]. Человек не утратил человечности в погоне за вещью. И всеобщее материальное благо, которое обещает людям новый мир, не есть спокойная сытость стада, но мир могучих человеческих страстей.

Именно такова любовь Увадьева, и охваченный ею герой перерождается. Увадьев равнодушно проходит мимо любой подделки под страсть. Во всем мире для него существует лишь одна единственная женщина. Именно поэтому такой взрыв ярости вызывает у героя попытка предпринимчивой машинистки Зои подменить его любовь неким суррогатом чувства» [223]. Преображенный любовью, Увадьев становится поэтом: «Я сказал, что осень... Дерево под окном, осина, вся в круглых листьях, как в медалях... латунь, медь, золото» [279]. (Интересно сравнить эту фразу из его телефонного разговора с Сузанной с обращением к девушке в начале романа: «Водки хотите, товарищ?» [9]). Герой становится человеком, признающим свое право на всю полноту жизни, а не на некий ее аскетически урезанный жертвенный вариант. Размышляя о прожитой жизни в ясное утро своего сорокалетия, Увадьев приходит к выводу, «что можно и следует любить свое нескладное тело, начиненное слабостями и оттого целых сорок лет мешавшее ему по настоящему предаться работе». Однако это не делает Увадьева слабее, а, напротив, опирается на «почти кристаллическое чувство телесной неуязвимости» [318]. Весна, заключающая роман, становится для героя, несмотря на безответность его любви, временем больших ожиданий, основанных на приобретении его ко всей полноте человеческой жизни.

Важно и другое. Осознав себя человеком, «машина» делает резкий поворот на сближение с людьми. Первые результаты этого сближения — то новое, что внезапно открывается Увадьеву в окружающих его людях: стремление Геласия к самопожертвованию, роль Буланина в мужицком брожении на стройке, трагедия Натальи, в которой только теперь Увадьев начинает видеть человека, ощущая как преступление свою жизнь с

нею без любви. «Вы оба замечательные люди... И вам нужно было сразу, тогда же... понимаешь? А я зря тут третьим замешался» [274], — говорит он Жеглову.

Но главный результат перестройки героя заключается в том, что Увадьев осознает: построить новое невозможно, даже если отдавать делу всего себя-машину. Делу нужен Увадьев-человек, равный среди людей, потому что именно человек, а не бездушная машина, способен наиболее чутко регулировать многообразные потребности дела. Отстаивая нужность стройки после катастрофы, Увадьев мысленно видит перед собой «незамысловатый образ корабля, который потрясают ночь и буря. Нужно было чрезвычайное умение и воля, чтобы вести его при перегруженных котлах через море, не помеченное ни на каких картах» [266]. Этот корабль — страна, вступившая в пору великого маневрирования, будет устойчив лишь в том случае, если между капитаном его и командой есть чуткое взаимодействие, если «выносливость» его команды подкреплена «мудростью капитана».

Эту мудрость Увадьеву также придется обрести. В работе с людьми у героя есть некий штамп, — поэтому в скиту «Увадьев привычно, как на митинге, поискавший хоть одно молодое лицо, испытал легкое смущение» [23], — необычная обстановка, исключая применение обычных приемов, давит, тяготит его. Привыкший к солдатской, рабочей аудитории, Увадьев приходит в отчаяние от вековой косности массы, которую вынужден преодолевать. «Трудностей не боюсь, — заявляет он Жеглову... — Я согласен и столы в канцеляриях переставлять и тарифицировать машинисток: я понимаю рабочие будни. Но преодолевать на каждом шагу апатию и глупость — это невыносимо. И потом: без восторга, без восторга делают!...» [94]. Но военная резкость Увадьева, попытка руководить «сверху» не приносят успеха: «Он шел, и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна» [48]. «Ты еще любишь вверх глядеть... понятно? А ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся, ладно ли идет» [261], — убеждает героя Потемкин.

В недостатке человечности, близости к простому человеку упрекает Увадьева рабочий Фаддей Акишин: «Нет в тебе, чтоб понять ремесленного человека, жестокосерден ты, хозяин!» [138]. Требования Акишина к начальнику строительства — это справедливые претензии человека труда, поднятого революцией к исторической жизни. Труд делает этого человека гражданином. «Кто Волховстрой строил? я! Кто на Кашире всю опалубку вел? ... я! На Шатуре кто дома воздвигал...» [139], — вот что, по мнению Акишина, возвышает его над монахами, задыхающимися во мраке скита. Этот человек осознал свою роль в истории человечества, свое право быть хозяином жизни. И естественно, что ему оскорбительны и грубый окрик, и начальственная снисходительность, — любая форма отказа признать за ним право быть личностью, а не послушным винтиком в чьих-то руках. Увадьеву непонятна обида Акишина в ночь катастрофы:

«— А ты наш, старик, наш... — Ему очень хотелось акишинской дружбы в этот беспорядочный час.

— Чей — наш? — своенравно обернулся Фаддей и рывком скинул его руку. — Я ничей, я свой. Думаешь, ты мной правишь? Я тобою правлю, бумажная душа... Я тебя всегда ругать буду, а ты меня береги... главней всего береги!» [200].

Между тем его обида — результат того, что в процессе социалистической стройки рождается новый социалистический человек. Строительство новой жизни в стране — это борьба не только за рост благосостояния, но и за духовный рост гражданина. Еще не начав вырабатывать бумагу, Сотьстрой уже работает «на культуру», под которой Леонов подразумевает духовное, нравственное воспитание личности нового человека.

Полностью овладеть жизнью, обрести всю полноту власти над нею Увадьеву удастся лишь тогда, когда он, в процессе преодоления стихии в окружающем мире и в самом себе, обретает умение прислушаться к тому, что идет «снизу», уважение к простому человеку. «Совет Потемкина помнить о глазах снизу в особенности пригодился Увадьеву: теперь они смотрели подозрительно и угрюмо, тысячи требовательных хозяйских глаз... Увадьев... писал Жеглову, что чем ниже стоял человек по должности, тем крепче понимал он символическое значение этого периода работ» [297].

Осмысление героем значительности и величия простого человека, стоящего у основ нового строя, делает для Увадьева неприемлемой его прежнюю роль «состоящего на побегушках при Сотьстрое» — «ему все хотелось делать самому» [299], чтобы стать в полном смысле этого слова рядом с теми людьми, руками которых строится новая жизнь. Увадьев ощущает свое кровное родство с этими людьми, и это усугубляет его чувство ответственности за их судьбы, за судьбу их общего дела. Увадьев начинает лучше понимать этих людей, и это умение заглянуть в человеческую душу сообщает особую силу его качествам руководителя. Теперь он чувствует себя «комиссаром при воинской части. Не умея разобраться во всех тонкостях технической стратегии, он зачастую глядел в глаза подчиненному и по неприметным оборотам речи определял его сокровенные устремления. Когда поднялся разговор о применении кессонного метода при постройке, он первым отверг эту возможность.

— За это, миленькие, под суд отдадут, — сказал он, на ощупь расставляя слова, и не ошибался» [300].

Герой обретает, наконец, ту основу, на которой зиждется сила руководителя нового социалистического типа и которая состоит в единстве ведущего и массы. Это единство не есть слияние, но глубочайшее духовное родство людей, усилия которых направлены к одной общей цели. Итог развития характера — Увадьева — символическая сцена ликвидации плавуна. «Увадьев прыгнул вниз, в затхлое, хрипучее молчание, где как будто не хватало его одного. Нашлось место и ему, никто не узнавал его, несчастье сравнило всех... Увадьева толкнули распоркой справа, потом слева; его притиснули к самой дыре, и вдруг стало ясно, что только его пары рук и не хватало в этой рукопашной» [316].

Характер Увадьева в романе проходит сложнейшую духовную эволюцию. Однако она лишь подтверждает устойчивость социального типа. Герой оказывается способным на резкую моральную перестройку, не теряя ни одного из своих бесспорных бойцовских качеств. Отказ героя от самоуверенности не означает потери им уверенности в себе, которая лишь приобретает новые черты: глубины, нравственной силы. Признание Увадьевым своего права на всю полноту жизненных проявлений человечности становится признанием силы и значительности человека, без ограничения его человеческой природы некоей псевдореволюционной догмой, без отказа во имя дела от целого комплекса нравственных ценностей, входящих в духовный потенциал личности и, вместе с преданностью делу, образующих единое понятие новой социалистической человечности. Конец романа — это «утро героя». «День» Увадьева — окончательный расцвет в нем уже родившихся качеств нового социалистического человека — впереди. В этом глубочайший оптимизм «Соти».

\* \* \*

Особенностью концепции нового человека в «Соти» является утверждение героического начала в положительном герое не только через его социальную активность, но и через его участие в борьбе с силами зла в нравственном, философском смысле. Леонов утверждает свое понимание истинной человечности как обязанности человека так прожить жизнь, чтобы и смерть не стерла, не уронила ее значения для человечества. В образах Сергея Потемкина, зачинателя и энтузиаста стройки, и монаха Евсевия, «святого», своеобразной достопримечательности захудалой обители на Соти, Леонов противопоставляет жизнь, отданную служению обществу, народу, как залог права героя на бессмертие и жизнь, прожитую бессмысленно и бесцельно. «Испытание смертью» завершает «испытание жизнью», окончательно обосновывая авторский «приговор» героям, в данном случае, — гимн художника величию человеческого духа и решительное, с бесстрашием истинного исследователя, обнажение духовной опустошенности, нравственного разложения личности. Новое, утверждает Леонов, сильно своей активной включенностью в «процесс природы», живую жизнь человечества. Поэтому истина, которую оно несет, остается жить, продолжает развиваться в природе, в человеке, даже если обстоятельства губят носителя этой истины. Истины старого мира мертвы и тленны потому, что по своей природе противостоят естественной человечности, тормозят ее развитие и неизбежно будут отвергнуты в «процессе природы», в процессе развития жизни.

В образах Потемкина и Евсевия Леонов рисует две трагедии умирания, две трагедии расставания человека со счастьем существования. Но за этими двумя смертями встают две жизни: яркий факел, осветивший тысячам людей путь к будущему, и смрадное прозябание в душной тьме отшельнического уединения.

Жизнь председателя Сотинского райисполкома Потемкина — это жизнь-битва, жизнь-горение. Воодушевленный мечтой о прекрасном будущем Соти, о том, чтобы поставить огромные богатства, которые

таит в себе его родная земля, на службу человеку, Потемкин отдает борьбу за претворение этой мечты в жизнь всего себя без остатка. «Он осунулся, оброс волосами и напоминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшебного напитка, необходимого для оживления любимой» [66]. Но этот человек, которого «называли всяко: энтузиастом, говоруном от индустриализации» и т. д., на самом деле просто-напросто «совмещал в себе гражданина эпохи и сына своего класса» [104]. Источник силы Потемкина в том, что, как гражданин эпохи, он олицетворяет волю народа, захваченного великой идеей социалистического преобразования страны, а как сын своего класса — пролетариата — возглавляет этот порыв. И оттого воля его, ставшая на данном этапе вместилищем народной воли, сокрушает одну за другой преграды на пути Сотьстроя, становится мощным катализатором, активизирующим деятельность тысяч людей, направляет их труд, энергию, мысль.

Этой жизни-горению противостоит в романе жизнь старца Евсевия — не жизнь даже в ее обычном человеческом понимании, а смрадное тление в душной прижизненной могиле. В Евсевии, как и в Потемкине, есть нечто, превышающее обычные человеческие возможности, только у Потемкина это выражается в буйном кипении энергии, активности, у Евсевия же — в способности не прожить — пролежать жизнь, безмолвно и равнодушно, укрывшись от света и воздуха грудой вонючего тряпья. Этот «подвиг» терпения и есть то, что «возвышает» Евсевия над окружающими, питает его славу «исцелителя» и «провидца».

Характерно, что и Потемкин, и Евсевий «несут свой крест», казалось бы, с одной целью — во имя блага ближнего, искоренения несправедливости, исцеления моральных и физических недугов. Однако совпадение это — чисто внешнее. Жизнь Потемкина — постоянная, неустанная забота о других. Весь страдный путь этого героя — неутомимое служение людям. Поэтому у Потемкина даже на пороге смерти нет мысли о себе. У Евсевия, напротив, на протяжении всего романа нет мыслей не о себе. И как бы это ни было парадоксально, все существование Евсевия, который, «как достояние и бремя, обеспечивающее хоть и негромкую славу обители», переходит от одного поколения скитских чернецов к другому, представляет «старца», при всем его пренебрежении к земным радостям, лишь в качестве своеобразной разновидности типа потребителя. Темный мужик, пекущийся лишь о куске хлеба насущного, — таков Евсевий до болезни, но и превратившись в «старца», он остается по сути дела тем же равнодушным существователем. Служение богу — прозябание в душном ящике с вонючим тряпьем, без каждодневного труда, понимаемого как утомительная суета, полностью истощивает его моральные и физические потребности: «его душевную пустыню не посетили никогда ни истинная страсть, ни путанные муки преступленья» [141].

Однако могучий ветер перемен, всколыхнувших Соть, проникает и в душный мрак души Евсевия. Когда заболел Евсевий, и болезнь его была смешная — насморк, и озабоченная здоровьем «святого» монастырская братья начинает выносить «старца» на воздух: «так и мещане проветривают время от времени содержимое глубоких укладок» [140]. Евсевий замечает: туда, «где раньше сладостно тешила слух тишина,

тривалось теперь перебойное гуденье локомотива, а там, где ускользающая Соть мощно взбегала в небо» [141], простирается взрытая стройкой земля. Величавая красота преображаемого человеком мира пронизывает душный мрак жизни Евсевия, заставляя его, наконец, постигнуть «торжественную радость бытия». Однако, постигая ее, старец одновременно осознает пустоту и ничтожество своего собственного существования. Жизнь прошла — без цели, без смысла, без пользы. Лежание во тьме и смраде, которым он хотел во имя бога возвыситься над людьми, оказывается на поверку бессмысленной и неблагодарной борьбой против грешных и прекрасных радостей жизни. Человек в человеке поднимает голос против неестественного, античеловеческого. Вспыхивает бессильный старческий бунт Евсевия против того, кто увел его от жизни, загнал во тьму и смрад. «Евсевий поднялся, точно перед смертью хотел бежать из этого горького людского мрака... — Нету бога! — крикнул он голосом хрустким, точно сломали щепочку» [229—230].

Не чета насморку Евсевия страшный неизлечимый недуг, сразивший Потемкина. «Непосильное мечтанье», истощавшее героя, «как голодного мысль о хлебе», мечта «о пролетарском островке среди великого крестьянского океана» [58] подрывают силы Потемкина. Это особенно страшно, потому что на этот раз смерть косит не Евсевия, который «начал умирать десятки лет назад и умирал по частям» [228]. Смертный приговор настигает человека на бегу, на взлете, в последнем отчаянном порыве к мечте. Однако с мечтой, во имя которой он жил и умирает, герой не расстается и перед лицом смерти. Когда последние силы иссякают, Потемкин, как сраженный вражеской пулей знаменосец, передающий стяг бегущему рядом, передает свою мечту о будущем Соти Увадьеву и его товарищам.

Леонов вводит в роман две предсмертные речи, два наставления уходящих остающимся: поучение умирающего Евсевия братьям по скиту и советы Потемкина Увадьеву, становящиеся его завещанием.

Ничего за свою долгую жизнь не «вылежал» Евсевий: ни ума, ни мудрости, ни прозорливой способности разобраться в сумятице событий, захлестнувшей скит. Евсевию не с чем обратиться к «братьям во Христе» — он не может указать им, каким путем идти дальше, как жить, во что верить. Не может, потому что и сам не знает. «На восток взирайте... Огня бойтесь, баб бежите...» [141], — повторяет старец заученное — и ни до ума, ни до сердца стоящих вокруг не доходят его сбивчивые и путанные речи.

С неохотой, из вежливости только слушает и Увадьев предсмертное слово Потемкина. «Увадьев покорно слушал его поученье, потому что оно было последнее» [261], — пишет Леонов, нарочито сближая реакцию Увадьева и монахов — живым де не учиться у мертвых. Но это-внешнее сближение лишь резко подчеркивает глубокую духовную пропасть, пролегающую между тем, что завещают Евсевий и Потемкин живым. Потемкин жил — он боролся, он побеждал, он терпел поражения, он трудом рук и напряжением мысли постигал суть и смысл жизни и, уходя, не может не открыть постигнутое тому, кто идет по его следам. У Потемкина есть что сказать людям. Он видит силу и слабость Увадьева —

человека, которому предстоит завершить начатое им, и стремится помочь ему: «Ты еще любишь вверх глядеть... понятно? а ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят...» [261]. Он делится с товарищем своим пониманием смысла человеческого существования: «Я скажу тебе секрет: свяжи свою судьбу с удачей предприятия, и если гибель — то и тебя нет. Тогда победа» [261] и слова эти — краткий итог его, потемкинского бытия, его краткого пребывания в мире живых. Потемкин уходит — но взгляд его проникнет во тьму лесной глухомани огнями индустриального гиганта, в который его, Потемкина, легкие вдохнули первое биение жизни, биение его сердца продолжится в ритме могучих машин комбината. Так утверждается в романе торжество мечты, бессмертие человеческого духа, человеческого гения.

Критикой уже отмечено<sup>21</sup>, что образ Потемкина при всей его значительности, еще не поднимается до тех высот утверждения, которых достигает Леонов впоследствии, в «Дороге на Океан». Герой «Соти» не выдерживает до конца экзамена на звание героя: страх — не смерти, а «умирания» — оказывается тем камнем, о который ломается стремительная коса Потемкинской жизни. Потемкин пасует перед слабостью, перед болезнью — отчаивается, теряет бойцовские качества. Он «больше всех на Сотьстрое боится реки» [185], стыдится «за свою реку, праматерь многих славных рек, которую хотел открыть миру» [185]. И этого стыда, этой слабости, этого отрешения Леонов не прощает герою: в последних, отведенных ему сценах, образ Потемкина намеренно снижен: «Теперь это был не прежний Потемкин, который ушкуйником отправлялся когда-то в сплавные путины, — не тот, который год назад вихрил вокруг себя бюрократическую труху; теперь это был даже не солдат, — буравчики его глаз сточились...» [185]. Писатель уводит героя со страниц романа: потеряв способность «умереть красиво», персонаж теряет право на авторское и читательское внимание. Таким образом, уже в «Соти» Леонов ставит вопрос о спокойном бесстрашии человека перед лицом смерти, как одним из основополагающих догматов человечности.

Величие революции для Леонова — залог величия совершившего ее человека. Утверждая идеалы революции во всех областях материальной и духовной жизни общества, человек создает себе небывалые возможности для творческого роста, расширяет и укрепляет нравственные основы новой человечности. Таков итог творческих и философских исканий прозы Леонова 20-х—30-х годов и, в частности, исследования им характера положительного героя эпохи в романе «Соть».

Май, 1972

Вильнюсский гос. университет  
им. В. Капсукаса

---

<sup>21</sup> В. П. Крылов. Время, герой, идеал художника.— В кн.: Творчество Леонида Леонова, Л., 1969, с. 40.

# **SOCIALISTINĖS ASMENYBĖS FORMAVIMASIS LEONOVO 3-jo—4-jo DEŠIMTMEČIŲ ROMANUOSE („SOTĖ“)**

**Re z i u m ė**

**S. KUZMENKO**

3-jo dešimtmečio prozos kūrybinių ieškojimų svarbiausioji kryptis — naujo, revoliucijos pagimdyto žmogaus socialinio ir dorovinio potencialo nustatymas. Spręsdamas šią problemą, Leonidas Leonovas teigia, kad naujas, besiformuojantis žmogiškumas kartu su dabarties patirtimi turi įsivirti ir sukauptas praeities dvasines vertybes. Tai padės naujam žmogui įveikti senojo pasaulio pasipriešinimą visose būties srityse — nuo išorinės, materialiosios sferos iki asmenybės vidinio pasaulio intymųjų gelmių. Nacionalinio charakterio turtinimo, įgyvendinant revoliucijos idėjas visuomenėje, problema sprendžiama visoje 3-jo dešimtmečio L. Leonovo kūryboje. Nuosekliausiai ji išspręsta romane „Sotė“. Svarbiausias romano herojus Ivanas Uvadjevas pereina labai sudėtingą dvasinę evoliuciją. Tai ryžtingo dorovinio persiauklėjimo procesas, kuriame teigiamos moralinės, etinės ir estetinės vertybės, rašytojo nuomone, sudaro naują, socialistinį žmogiškumą.

## **THE FORMATION OF SOCIALIST PERSONALITY IN LEONOV'S NOVELS OF THE 20-ies AND 30-ies (“SOTJ”)**

**S. KUZMENKO**

### **S u m m a r y**

The main trend in the creative seeking of new ways in the prose of the twenties is the definition of social and moral potential of the new man born in the revolution.

Leonid Leonov is of the opinion that the new moulding humanity must adopt together with the experiences of the contemporaneity also spiritual values amassed by the past in order to break on this basis the old world's resistance in all spheres of human existence, from external material conditions to the bottom of human soul. The problem of the enrichment of national character in the process of revolutionary ideas gaining strength in our society penetrates all the works of Leonid Leonov. This problem is successfully solved in his novel “Sotj”. The character of Ivan Uvadjev, the main hero of the novel, undergoes a most complicated spiritual evolution.

The complex of moral, ethic and aesthetic values which enters the notion of the new socialist humanity, is being strengthened, in the author's opinion, in this decisive moral reorientation.